



Уильям Теккерей

В благородном семействе



Перевод с английского
Надежды Вольпин

ФТМ



Уильям Теккерей
В благородном семействе

«ФТМ»

1840

Теккерей У. М.

В благородном семействе / У. М. Теккерей — «ФТМ», 1840

ISBN 978-5-4467-2821-3

В сатирическом романе Уильяма Мейкписа Теккерей «В благородном семействе» в переводе Надежды Давыдовны Вольпин ярким и острым словом высмеиваются пороки, присущие английскому среднему классу: столь принятые в благородных семействах подобострашие и лесть, страсть к вульгарной роскоши или поведению. Ловелас Брэндон и художник Фитч – вот где автор дал волю своему гениальному острословию и без стеснений высмеял английское «благородное» общество.

ISBN 978-5-4467-2821-3

© Теккерей У. М., 1840

© ФТМ, 1840

Содержание

Глава I	5
Конец ознакомительного фрагмента.	12

Уильям Мейкпис Теккерей

В благородном семействе

Глава I

В то примечательное время, когда Людовик XVIII был вторично возведен на трон своих отцов и все англичане, располагавшие деньгами и досугом, ринулись на континент, в Брюсселе проживала в пансионе благородная молодая вдова, носившая изысканное имя: миссис Уэлсли Макарти.

Вместе с вдовой, в том же доме и в одних с нею комнатах, жила ее маменька – дама, именовавшаяся миссис Крэб. Обе держались дамами общества. Крэбы были из очень старой английской семьи, а Макарти, как известно всему свету, принадлежали к древнему дворянству графства Корк и состояли в родстве с Шини, Финниганами, Кленси и другими знатными семействами Ирландии, соседствовавшими с ними. Но поручик Уэлсли Мак, не имея за душой ни шиллинга, сманил девицу Крэб, располагавшую таким же точно состоянием; и, прожив шесть месяцев в браке со своей супругой, 18 июня 1815 года был внезапно унесен болезнью, весьма распространенной в ту славную пору артиллерийской смертоносной лихорадкой. Он и еще много сот молодых ребят из его полка, Волонтеров Клонакилти, были в тот день захвачены этой эпидемией на некоем поле милях в десяти от Брюсселя и погибли на месте. Супруга поручика сопровождала его на континент и месяцев через пять после его смерти разрешилась от бремени двумя прелестными младенцами женского пола. К тому времени миссис Уэлсли успела помириться со своею маменькой: у миссис Крэб не было других детей, кроме ее беглой Джулианы, и, едва услышав о бедственном положении дочери, мать полетела к ней. Да и то сказать, было самое время, чтобы кто-нибудь приспел на помощь молодой вдове: поскольку муж не оставил ей никаких денег, ни денежных документов, кроме стопки счетов от портных и сапожников, аккуратно сложенных в его письменном столе, бедной миссис Уэлсли в пору было умереть с голоду, если никто ей не окажет дружеской поддержки.

Итак, миссис Крэб отправилась к дочери, которой Шини, Финниганы и Кленси в согласном презрении отказались чем-либо помочь. Дело в том, что мистер Крэб служил когда-то дворецким у владетельного лорда, а его супруга горничной; и после смерти Крэба миссис Крэб продала дилижансовую контору с харчевней под вывеской «Баран», на которых ее покойный муж сколотил капиталец, и с тремя тысячами фунтов за душой безбедно жила в небольшом городке на благородный манер, когда поручик Макарти пришел, увидел и сманил Джулиану. Для великих Кленси или Финниганов было немислимо признать такое родство, и снова вдове Крэба пришлось делить с дочерью свой скромный доход сто двадцать фунтов годовых.

В брюссельском пансионе они умудрялись вполне прилично жить на это вдвоем и слыть почтенными дамами. Близнецов, как это принято за границей, отдали кормилице в ближнюю деревню, потому что миссис Макарти была слишком слаба, чтобы кормить их грудью; а расщедриться на такую роскошь, как домашняя кормилица, миссис Крэб просто не могла.

Между матерью и дочерью в пору ее девичества шли непрестанные ссоры и раздоры; и, сказать по правде, миссис Крэб ничуть не огорчилась, когда ее Джули сбежала с поручиком, – ибо старая дама умильно млела перед любым джентльменом, и ей было очень лестно называться матерью миссис Макарти, офицерской жены. Зачем вообще понадобилось поручику сманивать свою невесту, когда ему бы с радостью отдали ее и так, – не наша забота; и мы не станем поднимать старые истории и деревенские сплетни, уверявшие, что не поручик сманил девицу, а девица сманила его, – поскольку ни автора, ни читателя это отнюдь не касается.

Итак, помирившись, мать и дочь снова стали жить вдвоем, теперь уже в Брюсселе. За год безутешное горе миссис Макарти заметно смягчилось; и при своей прирожденной великой любви к нарядам, довольно красивая и с недурной фигурой, она без сожаленья отбросила траур и стала появляться, одетая всегда к лицу и обновляя туалеты так часто, как только позволяли ее средства и изобретательность. В самом деле, принимая во внимание, как были скромны средства, все со всех сторон твердили, что миссис Крэб и ее дочь поразительно умеют соблюсти достоинство – то есть умудряются иметь такой респектабельный вид, как будто получают они, по крайней мере, пятьсот фунтов в год; и в церкви, и в гостях на чашке чая, и на улице выглядеть, что называется, благородными дамами. Если дома они недоедали, этого никто не видел; если крохоборничали, этого никто (хотелось бы надеяться) не знал; если хвастались насчет своей родни и родовых имений, кто мог уличить их во лжи? Так они жили, отчаянно стараясь удержаться хотя бы на самом краю благородного круга. Миссис Крэб, женщина с пониманием, относилась вполне почтительно к более высокому рангу дочери; а миссис Макарти не так часто, как прежде, ссорилась с маменькой, от которой целиком зависела вместе с двумя своими детьми.

Так обстояло дело, когда случилось одному молодому англичанину, Джеймсу Ганну, эсквайру, – из крупной торговой компании по поставке гарного масла «Ганн, Блаббери и Ганн» (как он спешил вас уведомить, едва вы провели хотя бы час в его обществе), – случилось, говорю я, этому самому Джеймсу Ганну, эсквайру, приехать на месяц в Брюссель с целью усовершенствования во французском языке; и на время пребывания в бельгийской столице он поселился в том самом пансионе, где жили миссис Крэб и ее дочь. Ганн был молод, слабоволен и легко воспламенялся; он увидел миссис Макарти и пал к ее ногам; и она, в те дни почти помолвленная с полковым лекарем-шотландцем, старым толстяком на деревянной ноге, безжалостно дала отставку доктору Мак-Линту и стала принимать ухаживания мистера Ганна. Как молодой человек уладил вопрос со старшим компаньоном, своим отцом, я не знаю; но известно, что была ссора, а затем примирение; и еще известно, что Джеймс Ганн дрался с лекарем на дуэли, приняв на себя огонь эскулапа и послав свою пулю в лазурь небес. В позднейшие годы мистер Ганн рассказывал о сей исторической битве не менее, как девять тысяч раз; это позволило ему пронести через всю свою жизнь славу храбреца и снискать, как утверждал он с гордостью, руку своей Джулианы, что, пожалуй, было довольно сомнительным благом.

Но одну часть истории честный Джеймс если когда и отваживался рассказать, то разве что чрезмерно распаленный гневом или хмелем. И вот в чем она заключалась: на другой день после свадьбы – и в присутствии нескольких друзей, пришедших с поздравлениями, – явилась мощная кормилица с парой упитанных малюток на руках; и эти розовые карапузы, при виде миссис Джеймс Ганн, потянулись к ней, нежно щебеча: «Мама! Мама!»¹ – на что новобрачная, залившись пунцовым румянцем, сказала: «Джеймс, эти две крошки – твои», – и бедный Джеймс едва не упал в обморок под тяжестью вдруг взваленного на него отцовства. «Дети! – простонал он в ужасе. – Чьи дети?» – на что миссис Крэб, величественно его перебив, объявила: «Эти малютки, дорогой мой Джеймс, – дочери благородного и храброго поручика Макарти, чью вдову вы вчера пред алтарем назвали своею женой. Будьте же счастливы с нею, а этим милым деткам, благослови их господь (слезы), я пожелаю найти в вас отца, который заменит им того, кто пал на поле славы!»

Миссис Крэб, миссис Джеймс Ганн, миссис Лолли, майорша, миссис Пифлер и прочие присутствующие дамы – все тут же пустили слезы; и Джеймс Ганн, добрый и мягкосердечный человек, совсем опешил. Наспех поцеловав жену, он принес торжественную клятву, что будет печься о малютках, и попробовал поцеловать их тоже, но милые крошки отклонили ласку, громко заревев. С той минуты участь Ганна была решена; и в дальнейшем он так до конца

¹ Мама! Мама! (франц.)

и жил под башмаком у жены, да и у тещи, покуда та не померла. Надо сказать, хитроумный план утаить детей принадлежал миссис Крэб; и когда дочка невинно предлагала забрать или навестить близнецов, старуха строго указывала на неразумие таких затей: ведь это могло бы отпугнуть мистера Ганна от приманчивой ловушки брака, в которую тот (везет же иному!) давал себя завлечь.

Вскоре после свадьбы счастливая чета вернулась в Англию и обосновалась в Сити, в особняке на Темз-стрит, где и прожила вплоть до смерти Ганна-старшего, когда его сын, став главою «Торгового дома Ганн и Блаббери», покинул скучные окрестности Биллингетского рынка и, поселившись в Патни, зажил здесь настоящим джентльменом: приличная обстановка, две-три спальни для гостей, отличный погреб и элегантный кабриолет – для поездок в город и обратно. Миссис Ганн, понятное дело, обращалась с ним пренебрежительно, называла пьяным болваном и ругательски ругала всех собутыльников, каких он привозил с собою в Патни. Честный Джеймс покорно выслушивал ее, соглашался, а назавтра притаскивал парочку новых приятелей – похвастаться своим портвейном и распить с ними привычное число бутылок. Об эту пору жена родила ему дочь – Каролину Бранденбург Ганн, названную так по большому замку под Хэммерсмитом и некоей обиженной королеве, которая там проживала, когда девочка родилась на свет, и которой участливо покровительствовали миссис Джеймс Ганн и другие дамы общества. В те годы миссис Джеймс была действительно дамой и устраивала приемы по первейшему разряду.

К этому времени миссис Джеймс Ганн поместила двух близнецов Уэлсли Макарти – Розалинду Кленси и Изабеллу Финниган – в пансион для благородных девиц и сильно ворчала по поводу слишком высокой платы за обучение, которую раз в полгода приходилось вносить за них ее мужу; и хотя Джеймс оплачивал счета со свойственным ему благодушием, его супруга была теперь невысокого мнения о своих малютках. Они не могут ожидать, говорила она, никакого капитала от мистера Ганна, и ее удивляет, с чего это ее супругу вздумалось помещать их в такой дорогой пансион, когда у него есть своя родная прелестная крошка, для которой он просто обязан копить все те деньги, какие может отложить.

Бабушка тоже души не чаяла в маленькой Каролине Бранденбург и обещала оставить милой крошке свои три тысячи фунтов, ибо именно так заведено на свете выказывать почтение к сему наиболее почитаемому предмету материальному процветанию. Кому в этой жизни достаются улыбки, и дружеские услуги, и приятные наследства? Богатым. И я, со своей стороны, очень хотел бы, чтобы кто-нибудь отказал мне хоть самую малость – ну, скажем, двадцать тысяч фунтов, – потому что я совершенно уверен, что тогда кто-нибудь другой тоже что-нибудь мне завещает и что я сойду в могилу обладателем капитала в круглую сотенку тысяч.

У маленькой Каролины была своя служанка, своя просторная и светлая детская, свой маленький экипаж для выезда, виды на бабушкины процентные бумаги и неоценимое сокровище – безраздельная любовь ее маменьки. Ганн тоже искренне ее любил – на свой лад; однако же он решил, что и падчерицы получат после его смерти щедрое наследство, но – о, если бы не это вечное НО!

Ганн и Блаббери, как читателю известно, вели торговлю гарным маслом. Их прибыли зависели от подрядов на освещение многих улиц Лондона; а к этому времени вошел в употребление светильный газ. «Газета» объявила, что Ганн и Блаббери прекращают платежи; и я, как это ни печально, должен сообщить: Блаббери так дурно вел дело, так были расточительны оба компаньона и их супруги, что кредиторы фирмы получили после конкурса всего лишь четырнадцать с половиной пенсов за фунт.

Когда миссис Крэб услышала об этом страшном происшествии – миссис Крэб, которая три дня в неделю обедала у зятя, которой нипочем бы не открыли доступ в дом, если бы бедняга Джеймс не встал со своим благодушием между ней и ее задиристой дочерью, – миссис Крэб, говорю я, объявила Джеймса Ганна мошенником и негодяем, бесчестным и грубым пьянчугой

и переписала свое завещание на девиц Макарти – Розалинду Кленси и Изабеллу Финнингган, не оставив бедной маленькой Каролине ни пенса. Половина из полутора тысяч фунтов, назначенных каждой из них, подлежала выплате по выходе замуж, вторая половина – после смерти миссис Джеймс Ганн, которая должна была пожизненно пользоваться процентами с нее. Так на этом свете мы возносимся и падаем так фортуна быстро машет крылами своими и внезапно заставляет нас вернуть полученные от нее дары (или, вернее, ссуды).

Как жили Ганн со своею семьей после постигшего их удара судьбы, я не знаю; но заметим: когда незадачливый купец обанкротился, он, пока идет конкурс и еще несколько месяцев после того, обычно сохраняет некие таинственные средства существования – обломки крушения его капитала, за которые ему удалось уцепиться и с их помощью держаться на поверхности. Пока он ютился в какой-то дыре в Ламбете, где жена так терзала беднягу, что ему оставалось только искать прибежища в кабаке, миссис Крэб умерла; таким образом, сто фунтов в год поступили в распоряжение миссис Ганн. Да еще пришли на помощь кое-кто из друзей Джеймса, полагавших, что в годы процветания он показал себя хорошим парнем: они сообща сняли дом, обставили и, поселив его там, заходили проведать его и утешить. Потом они стали навеваться реже; потом решили, что миссис Ганн страшный тиран и вдобавок дура; потом их жены, в свой черед, объявили ее невыносимой, а его – грязным, пьяницей, и мужья только покачивали головой и не могли не согласиться, что обвинение справедливо. Потом они и вовсе перестали навеваться; потому что так уж повелось на свете: многие из нас не чужды добрых побуждений, и мы при случае бываем щедры, а затем чужая нужда наскучит нам и начнет нас сердить своей назойливостью, – нас прямо-таки злит, что желудок изо дня в день требует пищи, снова и снова, и голодное существование представляется нам бесстыдно неразумным. У Ганна, стало быть, была в то время жена благородная дама, были дети, дом с полной обстановкой и сотня в год доходу. Как же он должен был жить? Супруга Джеймса Ганна, эсквайра, не позволяла ему унижаться до того, чтобы взять место клерка; и Джеймс, из лентяев лентяй, был рад примириться «с таким ее решением и ждать, когда ему представится возможность заняться чем-нибудь более приличествующим джентльмену. Можно бы составить прелюбопытный список такого рода занятий, когда бы автор склонен был распространяться об этом предмете: занятий, при которых человек сохраняет жалкую претензию на принадлежность к благородному кругу и постоянно с упоением говорит о своем «положении в обществе» и внушает себе, что он и в самом деле зарабатывает свой хлеб.

Сколько их, дам из разорившихся семейств, снимают большие квартиры и пускают в комнаты жильцов! Не такими ли хозяйками содержатся бесчисленные «пансионы с избранным музыкальным обществом близ фешенебельных кварталов»? И не их ли мужья, достойные джентльмены, каждое утро выходят из такого пансиона и направляются в Сити – или делают вид, что направляются туда – по некоему таинственному делу, которое они ведут? Время шло, и миссис Джеймс Ганн стала содержательницей меблированных комнат со столом (по ее выражению «приняла в семью двух-трех нахлебников»), а мистер Ганн завел таинственное «дело».

В 1835 году, когда начинается наш рассказ, в городе Маргете на невзрачной улочке стоял дом, где на двери, на блестящей медной дощечке, можно было прочесть имя мистера Ганна. Начищать каждое утро медную дощечку, равно как по возможности обслуживать мистера Ганна, его семью и его жильцов, вменялось в обязанность чумазой девчонке, их единственной прислуге; и поскольку дом стоял не слишком далеко от моря и, забравшись на крышу, вы могли в просвете между дымовыми трубами зреть пред собой сию великую стихию, миссис Ганн именовала пансион фешенебельным; и на ее рекламных картах значилось, что из дома открывается «прекрасный вид на море».

На зарешеченном окне приемной было написано крупными буквами слово «КОНТОРА»; здесь мистер Ганн и отправлял свою службу. Он очень изменился, бедняга, и смотрел приниженным. Два плаката, вывешенные за решетками окна, дают мне право заключить, что он не

почел для себя унижительным сделаться агентом компании «Имбирный лимонад, Лондон – Ямайка», а заодно и по распространению знаменитой смеси «Гастеровский Фариначо для младенцев, или Здоровая замена материнского молока»; черный, отсыревший, заплесневелый полуфунтовый пакет этой смеси неизменно стоял на одном конце каминной полки в конторе, тогда как другой ее конец занимала засиженная мухами бутылка лимонада. Больше ничто не указывало на то, что эта просторная комната в первом этаже была конторой, – если не считать громадной черной чернильницы с торчащим в ней тупым пером, на кончике которого толстой коркой насохли чернила: оно, как видно, месяцами вкушало покой.

Вы могли видеть, как в это помещение ежедневно, в два часа пополудни, employe² из соседней гостиницы приносит две кварты пива; и если случалось вам зайти в этот час, вас обдавало из «конторы» мощными парами и запахами обеда, и вы спотыкались на пороге о кучу побитых жестяных судков, раскрывших на вас свою пасть. Так этот верный оплот благородства обычай обедать в шесть часов – оказался сокрушен; и отсюда читатель может заключить, что дом Ганна находился в состоянии духовного упадка.

Сам Ганн – несомненно. Бывало, когда дамы удалятся в гостиную (хоть и окнами во двор, она благодаря желтым тюлевым занавескам, гардинам, небольшому полированному роялю и альбому на столе еще имела достаточно респектабельный вид), Ганн оставался в конторе – вершить дела. Вершились они в присутствии друзей и обычно заключались в том, что из углового шкафа извлекалась бутылка джина, а то и un litre³ бренди, причем Ганн хитро подмигивал и приставлял толстый палец к красному лоснящемуся носу; если же миссис Г. уходила из дому, Джеймс выкладывал вдобавок целый набор трубок, вследствие чего эта комната и была пропитана неистребимым ароматом дешевого табака.

Сказать по правде, мистер Ганн с утра до ночи ровно ничего не делал. Это был теперь грузный лысый мужчина пятидесяти лет; по будням он ходил неряшливым франтом: шалевый жилет, эспаньолка на широком двойном подбородке, брыжи в табачных крошках, огромная булавка на груди и набор брелоков; он завел себе форменный флотский сюртук с большими перламутровыми пуговицами и всегда носил через плечо громоздкую и гремучую подзорную трубу, с которой часами расхаживал по набережной или молу и смотрел на корабли, на купальные колясочки, на учениц женских школ, гулявших парами по эспланаде, и на все, за чем только можно наблюдать в подзорную трубу. Он знал всех, кто имел хоть какое-то отношение к почтовым каретам, ходившим из Дила в Дувр и обратно, и в течение дня непременно бывал свидетелем прибытия или отбытия не одной из них: перекинется словечком с конюхом насчет его «норовистой серой кобылы» и удостоит легким кивком «стрелка» (то есть фореитора), а почтаря поклоном; с ними он мог бесплатно отправить в город пакет, раза два ему случалось затащить к себе сэра Лети-Кувырк (почтенного возницу легкой четырехместной экстренной почтовой кареты), о чем он вам рассказывал, неизменно добавляя, что кое-кто из компании при этом изрядно нагрузился. Сам он не навещался в большие гостиницы; зато знал о каждом, кто приехал туда или уехал; и был большим человеком в «Сумке Подмастерья» и в «Сороке и Кубке», где являлся председателем клуба; пел басовую партию в «Минхере Ван Данке», «Волке» и других хороших песнях и ездил на пароходе до Лондона и обратно так часто, как хотел, безвозмездно получая на борту «свой харч». Таков он был, Джеймс Ганн. Иные, когда писали ему, именовали его «Джеймс Ганн, эсквайр».

Превратность судьбы и былой их блеск – об этом почтенный Ганн и вся его семья не уставали говорить; и следует отметить, что для людей известных наклонностей такого рода материальные, как их называют, беды вовсе не являются бедой, а напротив того – доподлинной удачей. Ганн, например, пока «Торговый дом Ганн и Блабери» не прекратил своего суще-

² Официант (франц.).

³ Здесь: литровую бутылку (франц.).

ствования, пил по преимуществу портвейн и бордо, ныне же вынужден был перейти на бренди и джин. А их он любил в сто раз больше, чем вино; да еще мог теперь рассуждать о винах и ставить себе в великую заслугу, что отказался от них. К тому же тогда, в дни процветания, ему как джентльмену было не к лицу заглядывать в кабаки, где теперь он был завсегдаем; зала таверны, песок на ее полу доставляли Ганну наивысшее удовольствие. Раньше он вынужден был проводить ежедневно долгие часы в темной, неудобной конторе на Тема-стрит; а Ганн терпеть не мог заниматься книгами и делами – разве что чужими. Вкусы у него были низменные: он любил кабацкие шутки, кабацкую компанию; а теперь, после разорения, его в упомянутых нами «Сумке Подмастерья» и в «Сороке» почитали отличным малым, настоящим джентльменом, тогда как в Патни он слыл среди своих светских приятелей заурядным пошляком. Видно, иному так уж на роду написано – потерпеть крушение и только выиграть на том.

Да и Джули, или «миссис Г.», как чаще называл ее муж, тоже немало выгадала на своих потерях. Она самым беспардонным образом хвасталась теперь своими былыми знакомствами; послушать ее, так она была принята в лучших домах и состояла в родстве с доброй половиной высшей знати. Главным ее занятием стало глотать лекарства да чинить и лицевать свои платья. Она всегда питала пристрастие к дешевой роскоши, любила лотереи, и приглашения на чашку чая, и прогулки по набережной, где порхала вместе с дочками беззаботным мотыльком. Она не роняла своего сословного достоинства, не упускала случая напомнить своим нахлебникам, что она «из благородных», и очень грубо обращалась со служанкой Бекки и бедняжкой Карри, своею младшей дочкой.

Потому что прилив сменяется отливом, и теперь вся нежность материнского сердца изливалась на «барышень Уэлсли Макарти», как раньше, во дни процветания в Патни, изливалась на Каролину. Миссис Ганн чтит и любила своих старших дочерей, высокородных наследниц полутора тысяч фунтов, и презирала нищенку Каролину, равно презираемую (как Золушка в самой чудесной из сказок) четой своих спесивых и бессердечных сестер. Это были рослые, статные, чернобровые девицы, беззастенчивые, бойкие, пышущие здоровьем и весельем. Каролина же – бледная и тоненькая, белокурая, с кроткими серыми глазами. Незаметная в своем затрапезном ситцевом платье, она никому не представлялась красавицей; тогда как две старшие сестры в пышном пестром муслине, в розовых шарфах и в искусственных цветах, в золоченых *fergonnieres*⁴ и прочих побрякушках, в кругу Ганнов были провозглашены настоящими леди, очень воспитанными и прелестными. У них были пунцовые щеки, белые плечи; лоснящиеся локоны громоздились в изобилии над их сияющими лбами, черные и скользкие, точно пиявки. Такие чары, сударыня моя, не могут не возыметь своего действия; и для Каролины было счастьем, что она не обладала ими, так как иначе она могла бы вырасти такую же тщеславной, легкомысленной и вульгарной, как эти девицы.

Покуда те всячески развлекались или сидели за чайным столом где-нибудь в гостях, обычным уделом Карри было оставаться дома и помогать служанке в бесчисленных работах, какие требовались в заведении миссис Ганн. Она помогала одеваться маменьке и сестрицам, подавала папеньке чай в постель, предъявляла счета нахлебникам, принимала на себя их брань, если это были дамы, и нередко подсобляла на кухне, когда нужно было что-нибудь испечь или состряпать в добавление к обычному меню. К двум часам ей полагалось приодеться к обеду, а в долгие вечера, покуда старшие девицы бренчали на рояле, мамаша возлежала на диване, а Ганн» посапывал над стаканом в своем кабаке, Карри занималась нескончаемой штопкой и починкой на всю семью. И впрямь, тяжелый жребий выпал тебе, бедняжка Каролина! После светлых дней твоего детства ни единого радостного часа – ни дружбы, ни веселых игр в кругу подруг, ни материнской любви; потому что, когда умерла материнская любовь, те родственные чувства со стороны остальных, которые она за собой влечет, тоже увяли и умерли. Во всей

⁴ Диадемах (франц.).

семье только Джеймс Ганн смотрел на дочь добрыми глазами и обращался к ней порой со словом грубоватой ласки. Каролина, однако, не жаловалась, не пролиwała бесконечных слез, не призывала смерть, как могло бы это быть, если бы она росла в более изысканном кругу. Бедная девушка не отдавала себе отчета, в каком положении она находится; она несла свое горе молча и терпеливо; ведь это было то же горе, какое несут в нашем обществе тысячи и тысячи женщин, и чахнут от него, и умирают; оно слагается из нескончаемого мелкого тиранства, долгого пренебрежения и злобной надоедливой придирчивости, сносить его труднее, чем любые муки, из-за каких мы, представители сильного пола, готовы вопить: «Ai, sti!»⁵

⁵ Горе, горе! (греч.).

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.